

Это не было дымкой сухости, мглою ли тонкой облачной, какая с темнотою, бывает, затягивает, незнаемо откуда и как, небо, гася по-летнему тусклые и теплые звезды в едва угадываемой мерклой вышине, неся с собой какую-никакую прохладу перегоревшей, ископыченной суховеями степи, истомленной огородной ботве, осаживая прозрачную, невесомую в закатном воздухе пыль, возвратившимся стадом поднятую горьковатую страдную пыль второго Спаса, какой дышат поздними вечерами, в какой забываются беспамятным сном усталые селенья.

Не было очередным газовым выбросом недалекого отсюда завода, вполгоризонта расползшегося за пологими взгорьями, тяжелой и всему чуждой здесь вонью кривобокой розы ветров – будто там, на западе, невыразимо тяжкую тектоническую плиту на мгновенье приподняли и спертый безвременьем адский смрад вырвался долей своею и стал мучить и душить травы окрестные, попавшиеся на пути ростоши, враз потускневшие воды прудов, изводить хоть уже и попривыкших, не сказать чтобы верующих, но с адом не согласных селян. И никак не могло быть тонкой, тянучей, еще чуемой гарью полусожженных, полуразбитых где-то далеко на юге городишек с перепаханнми танками, устланнми битым шифером, черепицей и стеклом предместьями, с трупным смердением в иссеченных осколками, изрытых воронками и траншеями черешневых садах – слишком далеки они были, хотя горели, тлели день и ночь который год.

Это ни на что такое похожим не было и быть не могло; но какая-то чудилась в последнем, зодиакальном уже свете, сухая мгла сопровождала неведомое это и неопределимое – сама сродни ночной тьме, почти от нее неотличимая и в ней скрывающаяся. Не с чем было сравнить эту мглу, которая и собственно мглою-то не была, а скорее мерцанием неким воздуха, тусклым его проявлением. Она возникла как бы из самого пространства,

из координатной его тончайшей сети просквозила и замечена никем не была, все ушло с головой в первый, утягивающий на дно существования сон, в забытие полное – все, всех увело, кроме разве старика, выбравшегося скоротать с куревом часок-другой бессонницей своей в палисадник старый, полуразгороженный, под непроглядные ночные тополя.

Перед тем, на самом исходе вечерней зари, еще чувствовалось снизу от огородов и прибрежных кустов неявное движение, наплывы, помавания речной свежести, еще одинокий степной комарик тонко зундел, жаловался, и была надежда на скудную хотя бы, пусть под утро, напоющую росу. Но с тьмой и во тьме появилась, проявилась, но облегла все, мертво обняла эта будто иссушающая все в себе мгла, обступила – и завyla где-то одна собака, брехнула испуганно и залилась другая; и старика, без того согбенного, еще согнуло в глухом клочке кашля, в попытках не дать доломать себя, жизнью ломанного-переломанного, продохнуть, сказать себе самому: да што, мол, за черт... што такое?!

Но не успел. Оцепененье настигло все – глухое, обморочное, и старик уже не задышкой – им зашелся, воздуха лишившим онеменьем этим, в какое-то мгновение охватившим и его, человека, и все живое вокруг и неживое, все звуки, движенья, даже осокорек молоденький, незнамо как занесенный сюда и вылезший за штaketником, только что шевеливший изреженными своими, в чем душа держится, листками, но замолкший враз, даже черный этот кривой, вразной глядящий штaketник... На миг долгий оцепенило, неизвестно сколько продлившийся, в нетях застрявший, в беспамятстве мгновенном и полном, и от него, человека, ни горя, ни радости, ни даже сознания себя не осталось, а одни только глаза будто – чтобы видеть все это, обезличенное напрочь, утратившее всякое содержание свое, жизнь.

И он, казалось, долго видел эти исчерпавшие себя, сутью, как кровью, истекшие формы бывшие, совершенно плоские теперь, пустые и никому не нужные, пустее выеденного яйца, дыры от баранки дешевле, всю эту небылую, небывшую, даже и прошлого, казалось, лишившуюся тень мира, испорченный и выброшенный негатив его... да, тень, ничто, просто тени – как места, где не хватает света. Сколько теней, сколько не хватает света. Сколько тщеты.

Он не думал так, мыслей таких не было, никаких не было; он просто видел все это, как видят, скажем, что лошадь гнедая, не сознавая этого, – и, если только спросит кто потом, говорят: да, вроде гнедая была; точно, гнедая!.. Так и старик видел эту безнадежную, опрокинутую все смыслы нехватку света, тщету немотствующую, эти тени не существующих уже дерев, ничего не огораживающего штaketника, избы своей выморочной, заметно севшей одним углом, и местоположение свое на завалинке, где только что вроде и он пребывал и где даже тень его усматривалась тоже; но ни сказать, ни даже подумать, что это он там есть, или недавно был, или мог, как существо некое, быть вообще, – не представлялось возможным, поскольку и сама возможность эта у него была кем-то или чем отнята. Было только зрение чье-то, стороннее, прозрение в ничто, остального не существовало ни раньше, ни теперь, ибо не существовало и самого этого «теперь».

Отсутствие «теперь», отсутствие самого отсутствия – зачем дано, позволено было видеть ему все это, эти тени теней?

И если никак не мог он там, в стороннем и совершенно немыслимом, быть и видеть, зачем дано прозренья, что он там все-таки был и видел?

Ввернувшись тотчас, но каком-то ином «теперь» он уже знал, что никому никогда не скажет ничего – не захочет, это одно, как не захотят о том сказать, он был уверен, и другие, если были они, конечно: не посмеют, разве что совсем уж глупый какой человек болтать начнет, сам себе плохо веря... А другое – о чем и как сказать? Нечего сказать, на это и слов не найдешь, ничего же не было, не произошло... ничего, кроме смерти всего, распада, растворенья в той мгле тончайшей, место ночной тьмы загустившей, место всей земли и заревом завода обозначенного на западе неба, крошечных над головою тополей. Или того, что обреталось за этой серебрящейся серо мглой, чего ни назвать, ни хоть как-то обозначить...

Неть.

Такое слово было, да, но ничего не говорящее, равнодушное и где-то внутри этого своего равнодушия страшное таящее, отказывающее человеку во всем. Но и оно не могло передать самой даже малой толики того, что он почувствовал, умерев и – сквозь долгую-долгую паузу, которой не было, – вернувшись тотчас назад зачем-то, опять сюда, на завалинку опостылевшую, под расщепленный два десятка лет тому грозюю, под соловьиный по весне тополь... Зачем было – назад?

Он пожал плечами и ощутил снова свое затекшее, как после долгой посиделки, тело и так уставшую, начал своих и концов так и не нашедшую, покоя не обретшую душу... куда больше тела уставшую, измызанную и уж не подлежащую, казалось, никакому очищению или освобождению душу. Куда ее, такую? Кому она нужна, кто ее взыщет, беспутную, спросит, кто под высокое покровительство свое примет, да и есть ли такое? Ему самому, одному, она не нужна.

Он вдруг понял это с безжалостной к себе отчетливостью: да, не нужна, надоела до смерти, устал он разбираться с нею, непонятливой bestолочью, строптивой когда не надо, глупой, вечно куда-нибудь занесет... Не любит ее, как всякий русский человек, не больно жалуется; а она все вздорничает, а то виляет, врет безбожно себе и другим или болит без толку, мает... Надоело, устал и не знает, куда ее приткнуть, кому отдать. Богу бы, пусть разбирается, – но чертей он много видал, всяких, а вот Бога ни разу не сподобился, то компания заместо его, то районный секретарь очередной, не достанешь, а сейчас и вовсе... Не возьмут, не нужна, им это и по штату не положено небось, за свою бы ответить. Всякому до себя; и вот он с нею, изношенной, не годной никуда, неподъемной иной раз – чемодан без ручки, вспомнил он чье-то походя присловье: и нести тяжело, и бросить вроде жалко. Не жалко, нет – зазорно: а зачем нес тогда столько? За каким?.. Вроде чего-то ждешь еще, хотя что можно ждать от жизни этой; вроде сказать должен кто-то – зачем; но никто тут, он уж знает, не скажет этого, а уйти не уйдешь. Жизнь – она, подлая, заставит жить. Просто так вот не уйдешь, зазорно.

И сидел так, тяжелы были мысли, и опомнившийся, напуганный чем-то осокорек трепетал и трепетал перед ним, неслышный.

Она его почувствовала, узнала сразу – едва только вошла в непалимовский свой автобус.

Народу уже натолкалось, но с каким-то мальчиком повезло, полузнакомым студентом, приличным и в очках, уступил место; и пока рассовывала сумки – большую под сиденье, так, легкую к ногам, а замшевую сумочку побыстрее с шеи, а то как тетка какая запурханная, – уже глянула и раз, и другой на него, стоявшего в проходе вполоборота к ней... да нет, затылком почти, виднелась сухощавая, даже на погляд жесткая скула, продолговатый нос, прямой, и небольшие совсем, заметно выгоревшие усы, а глаз как будто нет – так, прочерк один, откуда временами проблескивало холодно, даже тускло. И он глянул, не очень-то, видно, довольный, что его побеспокоили вниманьем; не сразу отвел глаза – и отвернулся, отвлекли, какой-то опоздавший мужик бежал рядом с тронувшимся автобусом, кричал шоферу и гулко раза два грохнул кулаком в листовую обшивку; и звук отдаленным получился, из каких-то будто иных пространств, и грозный – так в дверь твою стучат...

Еще раз дернувшись, тронулся автобус, мальчик спросил про Зину, подружку ее, – да, этим же, своим автобусом и ехали весной, и студент их пряником угостил, большим таким, в коробке. Тульским, да, нежеван летел пряник, пробегались за полдня по магазинам, а дело к Пасхе шло, и как же им, городским теперь, гостинцев не захватить, родительский стол не украсить. Смазливый был, аккуратный мальчик, очки ему даже шли, но руки какие-то бледные, с черными волосками, не скажешь, что из сельских тоже; и с руки этой на поручне сиденья она переводила глаза на белесый затылок того, впереди, не стригся и шею не подбрасывал давно, завитки. Не из толстых была шея, но сильная, загар на ней уже серым стал; а сам довольно высок, под мышками клетчатой с закатанными рукавами рубахи полукружья пота. И спохватилась, мизинцем под одним глазом, под другим – не потекла? Жара стоит изнуряющая, второе уже лето не щадит ничего, а тут еще замятня та московская, людская, дикая – как перед концом света, мать это всерьез говорит, без всякой скидки, сокрушенно прибавляет: а бесов, бесов-то развелось сколь!.. И едва успела отвести взгляд. Но он глянул не на нее, с ней ему было, может, все ясно уже, а на мальчика именно – и оценил верно и опять отвернулся.

Они ехали едва ли не час, мальчик вел разговор ненавязчиво, нет, вполне непринужденно, раза два заставил даже рассмеяться (она как со стороны услышала свой смех – грудной немного, чуть не зазывный, с чего бы это, девоньки?!); и на своей остановке, в Лоховке, слез с явной неохотой – родители, дескать, ждут тоже, – и обещал навеститься, в клубе-то она будет вечером? Нет-нет, какой клуб, сказала она, назавтра в город ей с утра, назад, работа же. Ну, тогда в городе, на днях как-нибудь, через Зину? Она пожалала плечами; ей и неловко было, слышат же люди, и прямым отказом обижать не хотелось, вот уж ни к чему встречи эти... Зинке сказать, не забыть, чтоб не вздумала телефон ее рабочий дать, проболтать ненароком. И постаралась с благодарностью улыбнуться ему, от выхода оглянувшемуся, выручил же.

А этот не сказать чтобы худой, но какой-то плоский телом и прямой, это из-за плечей, не узкие. И припыленный весь будто, его бы отмыть, приодеть. Отчего-то она сразу не то

что равнодушно эту мысль приняла – взволновалась ею прямо... ох и дуры мы, без тебя, наверное, есть кому отмыть-одеть, не парень уж – мужчина, погляди получше. Семеро по лавкам, гляди... ну, не семеро – девочка одна, две ли, у таких девки всегда, не оторвешь. Такого не оторвешь. Через плечо сумка, к родне, может, какой едет в Непалимовку к нам или по делу – к кому бы?..

Ну не кулема, уже ругала она себя, переспешила со сборами, кольцо на левую не надела – а ведь хотела! Ведь уже сунулась в шкаф, к выдвижному, а тут кофточку увидала – взять, не взять? Жара, а с другой стороны – легонькая, для утра-вечера, и к платью шла, давно такую хотела, треть полочки ухлопала; и вот взяла, а на кой, спрашивается, париться в ней? Снять надо, вот что, и прямо сейчас. И в сумку ее, в сумку! И кольцо – носи, за тем ведь и купила, нечего опускаться... что, опустилась? Ну нет, еще годочков несколько... А тоска какая, Господи, кто бы знал тоску.

Он, что ли, знал? Наверное; но никогда ей после о том не говорил и не скажет, с ним на эти темы не разговоришься. Не разбежишься, скажет: ты ли это, матушка? И правильно, не говорят об этом, все равно ничего не объяснишь. Молчат, и оттого, может, тоска.

Но до чего глаза равнодушные у него – там, в прищуре ли, прорези: посмотрел, и она храбро выдержала их, глядя открыто, честно, как могла; а в это время автобус уже заваливался с грейдера на сельский их «аппендицит», и открылись разом в прогале старой кленовой лесопосадки Непалимовка их и заречная луговая даль, а за нею увалы степные со скудной зеленцою по красноглинистым осыпям и потекам на склонах, с туманным осевком небесной сини на самых дальних, в плоскость земную утягивающихся возвышеньях – там, далеко, куда ходили, бегали они сигушками еще в колок осиновый за ландышами, там бери их не обери... Ей нечего таить, она честная девушка. Она так это и сказала ему, глазами; а сказать вслух кому – не поверят: мол, знаем нынешних вас... Не всех знаете. Господи, как она тогда вырвалась из-под того, Мельниченко, – себя уж не помня, вывернулась: «Не сейчас, обожди... не здесь!» Не здесь и нигде, локти себе потом кусал, бегал за нею – а ведь уж думал, что все, приручил, никуда-то не денется... Делась. Делась-подевалась, как знала.

Постой, о чем ты?.. Знала? Знаешь, для кого?

Да что она знала, что знает сейчас вот – когда мужчина смотрит, с этим равнодушным и потому оскорбительным почти взглядом, на нее смотрит, на красивую, цену не сама выставляла – люди; а он Бог знает откуда, не сказать, чтоб уж такой приглядный, и совершенно чужой: резковатые складки у губ, это серое от загара, припыленное будто лицо... Чужой, но тот. Которого никогда еще, кажется, не встречала она, во снах разве, но и там ни глаз, ни лица даже, одно ощущение силы этой, надежности в прямых плечах и того, что – свой... Смотрит, и ни тени интереса, кажется, ну как на куклу, на стенку ли какую, черт бы их тягал, дураков, то удушиться готовы, то не глядят. И тот, Мельниченко, девку послушался, дурень, пожалел – «не здесь»... А где, скажи на милость, в мечтах? Там нас нет, там шкурки одни, бесплотность. А мы здесь: кулемы с утра, к работе подмазалась, бежишь, стирки набралось и долгов, регула мутит, на все бы плюнула – а ты цветы и пахни. Ты скрипи, но пой.

Юрочку вот вспомнила, Мельниченко... нет, правильно сделала, что рассталась, гастролер был и фат, широко известный в узких кругах, и хоть сам по себе добрый, этого не отыметь, она ведь и увлеклась сначала не на шутку им, дурочка, – но как же, должно быть, жалел, что пожалел... Оксанку потом водил, из бухгалтерии, у той всегда и стол и дом, всегда и всем наготове; и отвалил, пропал с горизонта событий. Так не для Юрочки же, в самом деле, береглась – он бы этого и не понял, пожалуй... Или Слава тот же, какой на тебя на всякую давно согласен, на все, – для него? Девушка с приданным, нечего сказать. Взнос в семейную жизнь – вот уж некуда тошней...

Господи, для этого бы!

Она это жарко вдруг и потерянно подумала, в спину ему глядя, почти молясь... не пожалела бы ничего. Один раз пусть – а там хоть куда. Хоть кому – осточертело. Ему первому, чужому, чтоб даже имени не знал ее, – от стыда жизни этой. От стыдобы, какую она не то что определить, понять – назвать-то даже не может.

Автобус подъезжал уже к сельсовету, люди вещи собирали, поднимались; нагнулась, стала нашаривать под сиденьем ручки сумки своей и она. Нашарила, вытащила, а замшевую хоть в зубы – ну за каким вот взяла, для виду? Для виду, обреченно подумала она, для чего ж еще?

Выходили так, будто не все успеют сделать это; и она заразилась тоже, толчком этим при остановке, не терпелось на воздух, на землю нетряскую, надежную свою. Продвигалась к задней двери и уж искала глазами среди немногих встречающих отца, они ее ждали сегодня, – и вдруг большую ее, тяжеленную сумку взяли сзади за лямки, с ее рукою рядом, и вторым движеньем молча отняли. Она оглянулась, увидела близко его лицо, не узкое, как ей вначале подумалось, нет, усы над сухими губами и прищур этот, пригляд, и от растерянности кивнула, тоже молча. Они продвигались, потом вовсе остановились, там выгружали громоздкий ящик; и в какой-то момент она явственно услышала запах его пота – совсем не сильный и именно его, он так и должен был пахнуть... как у отца, да, пряным, чем-то табачным, что ли, так рубашки его, майки при стирке пахнут; а мать, когда люди, бывает, хвалят запах в их доме, соглашается, говорит чуть не с гордостью: «Это от мужика... как мужик пахнет, так и в доме. Вон у Ерофейчевых – не продыхнуть...» Его, по-мужски тяжеловатый чуть, отцовский и все ж непривычный... под мышку бы ткнуться, замереть, пропади оно пропадом все, сумки эти, автобусы, работа, двадцать эти четыре, – вдохнуть и не выдыхать, пусть несет куда хочет, все берет, не жалеет, незачем нас жалеть.

А сердце ее билось уже толчками, чуть не вслух – неужто увидел?! Надолго, к кому тут? Спросить? Она боялась, что не выговорит, под этими-то глазами – хотя почему б и нет, всего-то слов... Кивнет сейчас и уйдет, а кто он, зачем, к чему мелькнул тут, поманил и пропал – неизвестно, ищи тогда; а ей с утра завтра автобус опять, общага, малосемейка их драная, с обеда на работу... и все? Хуже некуда искать непотерянное. И растерялась, как школьница, оглянуться боялась – это она-то... Нет, попросить помочь, донести – хоть до магазина, к повороту на свою улицу. Люди? Да Бог-то с ними, пусть глядят... ну, поболтают,

делов-то. Придержат, только б не встречали его, – а там дорогу, может, показать, то-се. Вроде нет отца, не встретил, ну и... Дорогу, да, и хоть в клуб вечером, хоть... Или спросить?

Это как лихорадка была – минутная, но оттого и может, резкая, всю ее захватившая, до жилочки, только что не трясло... как тогда, под тем. Помогите, Заступница! И по ступенькам спускаясь подрагивающими ногами, она уже знала, знала, что это – ее, что здесь никак нельзя упустить, что-то не так сделать, не то, и что ей сейчас нужно и можно все делать – все... И когда наконец оглянулась, на нетвердой, будто еще пошатывающейся земле стоя – укачалось? – и уже хотела спросить ли, может, или спасибо лишь выговорить, какие глаза будут, – он сам, упреждая, головою вбок качнул, на улицу показывая, сказал:

– Помочь вам? Донести?

И опять она лишь кивнуть смогла, уже во все глаза глядя на него, не стесняясь ни его, ни себя самой, забыв будто об этом, о людях вовсе не помня, не видя, – толклись вокруг, вещички разбирая, переговаривались... И так дико среди всего этого, так некстати и неожиданно завыл вдруг бабий надорванный, в голос, причет:

– Ой да ты сыночек-то на-а-а-ш, ой да ты миленька-а-ай!..

Она вздрогнула вся, почти опомнясь, оглянулась. Еще не все вышли, набилось много на вокзале и по дороге подсаживались; и вот из передней двери торопливо спускается ее одноклассник бывший Колька, недоучка, где-то в городе монтажничает на стройках, – с каменным лицом спускается, а снизу сестричка его, дядя, бабы какие-то ждут, ей незнакомые, и мать Степашиных впереди, всем слезным, что в ней есть, всем намученным своим за жизнь рвет голос, сердце, и нет укрыться от этого, нет исходу...

– Ой да папынька да твой... да горямышная наш ды батюшка-а, да ты зачем же нас спокинул-та-а!..

Николай уже держит мать, озирается поверху набрякшими глазами, из последнего крепясь; и когда сестренка обнимает плечо его, виснет, трется мучительно лбом – сдает, суется лицом в материнский серенький полушалок старый, вытертый, меж их голов...

Двое, кто-то из своих мужиков, она успела это заметить краем глаза, коротко и скорбно поздоровались, проходя, – но не с нею, а скорее с ним именно, с попутчиком ее неизвестным, он хмуро ответил; и, глянув еще раз и пристально на плачущих и терпеливой кучкой стоящих вокруг Степашиных, к ней обернулся, спросил:

– Вам куда?

– А вот по улице по этой... недалеко. Если вам по дороге.

Еще она не поняла из-за происшедшего со Степашиными всего значения того, что с ним поздоровались; вернее, поняла, но не сразу, не вдруг поверила, что он здесь, оказывается, не совсем уж чужой, – потому что прежде всего он ей был чужой тут, неизвестный совсем, и это как-то не связывалось еще... и хотела было уже спросить – что-нибудь спросить, неважно что, лишь бы заговорить как-то непринужденной, ее была очередь, – когда он опять ее опередил, качнул неопределенно головой, хмуро:

– Степан Николаевич...

И дошло, связалось, вспыхнула вся – знает... знал Степашу даже, Колькиного отца, малоприметного, на разных вечно работах с бабами... Знает! Работает тут? Неужто женатый, Господи...

– Да... – сказала она, они уже шли, шаг у него широкий был, нельзя отставать; и натянутость в голосе своем услышать сумела, добавила извинительно и – сама ничего не могла поделывать – натянуто опять:

– Болел он, я знала. Добрый был... Так вы что, уже здешний?

– Ну, как... Агрономом тут.

– Агрономом?! И давно?

– Да с год.

– Це-елый год?! А я-то что ж вас не видела?

– Не хотели, может. – Что-то вроде усмешки тронуло губы его и скошенные на нее серые, вроде бы отмягчевшие глаза. – Не замечали.

– Вот уж нет... Я теперь, правда, наездами здесь... то учеба, то работа. А действительно, агроном... – Он бровь поднял, и она, не дожидаясь, с улыбкою засматривая на ходу туда, в недоступную ей пока, непонятную, всю бликами, как вода, искрами отражающую глубину глаз этих, пояснила: – Шагаете как...

– А-а, да... Это есть. – Он сбил шаг, сбавил, ремень сумки своей на плече поправил, тоже набитая была. – Волка ноги кормят.

– Да нет, ничего... Вы торопитесь, может, а тут я... – И отважилась наконец, и с лукавостью откровенной посмеиваясь, с сухостью какой-то нехорошей во рту, слабая решимостью и потому торопясь – выговорила, глаза опустила: – Ждут же дома, наверное... семья, дети там. К ужину.

Он ответил не сразу, он ее разглядывал, она мельком увидела проблеск этот холодно-ватый в глазах, в прищуре – и было это, уже поняла она, хуже и опасней всего...

– Нету, – сказал наконец он. – Нетути. – И пожалел ее: – Не нажил.

– Да? – И нечего стало сказать, все как-то сразу ослабело в ней, отпустилось, и даже радости как будто не было, лишь толкнуло опять – он?! Хватило еще от глупости удержаться: мол, что же вы так теряетесь, или в этом роде что-то: хватило глянуть благодарно – все сам он делал, брал на себя, ей как-то и непривычно это было, хотя желалось-то давно, – и лишь проговорить:

– Вы уж простите... Смешно?

И опять он не сразу ответил, помедлил, было с чем помедлить, и сказал:

– Нет.

– Спасибо.

– Не на чем.

Усмешка? Ах, да Бог-то с нею, с усмешкой, не на чем так не на чем; ей удачно удалось, искренне и легко это «спасибо» – так легко, что засмеялась бы сейчас; но она лишь улыбнулась ему – снизу вверх, именно так, хотя самую разве малость была ниже его, на каблучках-то, – улыбнулась его глазам, покачала головой:

– Ну, мало ль... У них – ну, у женатых там, у замужних – ведь столько дел... ведь так? Нам их не понять.

– Так уж и не понять...

– Нет, правда... Значит, прижились у нас? Не скучно тут?

– Некогда. Не получается скучать. – Он шел и поглядывал – на нее, на встречные дворы, и уже явная улыбка не улыбка – нет, усмешка все та же – появлялась на лице его, исчезала. – А хитрая вы.

– Я-а-а?! – Она повернулась к нему, широко раскрыла глаза – и рассмеялась, не выдержала, просилось все смеяться в ней, высвободиться, едва ль – мелькнула тень испуга – не истерическое... нет-нет, девонька, нет, как во сне все, как надо, молодчина ты, умничка, умница какая у меня... – Что вы! Я просто... Ой, пришли мы!

И поставила сумку, какую несла, у ног, лукаво глянула опять:

– Угадайте, чья?

Не ахти какая шутка была, но он принял и ее: плечами пожал, по-мальчишески к затылку дернулся было рукой... угадай вас. Действительно, угадай попробуй. И смотрел: впереди по левую руку их дом на взгорке был, а напротив деда Василия избенка с тополями в полуразгороженном травяном палисаднике – непроглядно густыми сейчас тополями, под небо, один грозою расщепило давно, раскорезило до середины; и не на другом каком – на этом селился с давних-то пор соловей и томил, с каждой звездой-вечерницей томил майскими сумерками, и замолкал иногда, ненадолго; но не молкла ночь, вся полная отзвуками близкими и дальними его, соловья, тополевыми в отворенном окошке вздохами, дыханьем веющим, близким в лицо – чьим?..

– Ивана Палыча?!

– Ага! – Она торжествовала, сама не зная почему... да почему ж и нет? Кого хочет пусть спросит: не зряшная семья, порядочная, не какие-то там... Да и знает, конечно же, – ему ль, агроному, кладовщика своего не знать?! Они-то давно знают, а вот она... – Люба.

– Алексей.

Алексей? А что, похоже... подходит, суховатое такое. Алеша – нет, Леша; и где она его видела, когда? Он такой, каким она его где-то видела, и вроде не во сне даже, нет. Такой и в то же время другой совсем, незнакомый. Ему бы костюм – в елочку, серый. К глазам этим, чуть тяжеловатым холодностью своей ли, пристальностью, это с непривычки, может, – с некоторым сейчас интересом ее разглядывающим, пусть, ниже на мгновение скользнувшим... пусть, так лучше даже, вот вся она, двадцать четыре, ей нечего таить. Не вся, нет – двадцать четыре тоски в ней, ожидания, снов неразгаданных, Господи, Ты же есть, Ты знаешь!..

– В город завтра?

Услышал! Слышал, хоть далековато вроде в автобусе стоял – слушал!

– Мне тоже с утра в агропром... подвезу, хотите? Машину должны мне сегодня наладить – могу до места.

– Правда? А то с сумками этими... а родители нагрузят всегда... – И заколебалась,

даже оглянулась на свой дом с полуулыбкой неуверенной, это и вправду было для нее неожиданным; и опять за него, уже зная, что он – решит. – А как?..

– Да хоть как. Хоть от двора.

– Прямо так?

– Ага, прямо. – Он улыбнулся, впервые, жесткие лучики морщин у глаз как-то смягчились, дружелюбными стали глаза, почти добрыми... почаще бы улыбался. И сколько ему? Можно двадцать пять дать, все тридцать даже – такое лицо, глаза... – А что тут такого? Отец-то небось все равно пошел бы провожать... Ну, к остановке, к правлению?

– Пошел бы, – вздохнула она.

– Значит, в восемь буду. Тут вот. Зайду. Сблатовала, скажете...

– Что вы, как я такое скажу... Спасибо!

– Не на чем.

И, сумку передавая, глянул, запоминая словно, еще улыбнулся раз и повернулся, пошел назад – к правлению, скорее всего, еще не было и шести. Не то что скоро, нет, но и не медля... оглянется, нет? Наверяд ли. Не из тех.

Она поднялась высоким отцовским крыльцом, на окна свои даже не глянув, обернулась – уже и не видно стало его за палисадниками, поразвели кусты, – в сенцах составила сумки, обессиленно прислонилась к косяку... Господи, вешалась же. И сразу жарко стало, беспокойно – хотя чего там, казалось бы... Ну, дева! Не зря он так глядел, не верил... а ей, что было ей делать?! Ищи потом, жалуйся на судьбу. Как знала...

Радость подпирающая, своей ожидавшая минуты, нетерпеливо дрожащая в ней, – радость волной тошноты подкатила под сердце, по ногам, хоть садись... И вешалась, и пусть. И правильно. Стыд жизни куда был хуже, непереносимей, темней – это у нее-то. Ведь она и знает, чего стоит, и не внешне только, нет, хотя внешне тоже... Она терпеливая, в мать, а это поискать нынче. Но людям этого мало, все как с ума посошли, все им разом, сейчас подавай, тотчас и в блестящей обертке – а что там завернуто... Но она-то знает, что главное в жизни и в человеке – терпение, и к нему готова. Только понять в ней это некому – и некуда деться, как побирушке последней. А теперь... Завтра теперь, все завтра. Дальше она знает – как, дальше дело терпенья.

А страшно. Уже сегодня, сейчас (и она это всем в себе почувствовала, не зря же ведь сердце торкнулось, стукнуло) что-то совершилось непеременимое, не подлежащее никакому возврату, и все теперь само пошло, не по ее даже воле... Кто он, какой – уже не вопрос. Твой, и другого тебе не надо, ты ведь сама это знаешь. Судьба, да? – спросила она кого-то. И судьба тоже. Ты же не захочешь назад повернуть, не повернешь. А потом поздно будет, это и есть – судьба.

И уже знала, как будет. Войдет завтра, под притолоку наклонясь, с отцом за руку подздоровается, на дверь в горницу глянет, скажет: ну, где тут попутчица?..

Заскрипела в избе половица, и она подхватила сумки, шагнула к открывшейся двери, к матери.

– Дочушка, ай ты? А я жду уж, немочь заела... вот-вот, думаю. Не встрел отец-то? А хотел, прямо со складов хотел к автобусу. Дак и ладно, што ж теперь. Донесла же. – И посмотрела: – А ты што это... такая?

– Жарко, мамань...

Лишь вечером она сказала, что до города ее завтра обещал подбросить агроном – главное, к общезитию прямо.

– Эк вы, договорились уж... Это когда ж успели?

– Да так, в автобусе...

– Прямо на ходу все у них...

– Ну и договорились, – сказал отец. – Делов-то. Картошки возьми поболее, раз так. А што, дельный. Вроде не пьет.

– Николай приехал, – сказала она, поторопившись, припоздало вспомнив. – Степашин. Встречали там...

– Да-а, кто б на Степку подумал... На похороны завтра. Ну, болел – ну дак не он один, все болеем, время. А вот возьми вот...

Ходила по горнице, собиралась к завтрашнему, и что-то, ко всему вдобавок, Николай все не шел из ума, Колян, – подойти бы, хоть что-то сказать... стыдно как-то. Не до того ему было, понятно, встреча такая ему, – а все равно нехорошо. Все поврозь колотимся, всяк со своим, а тут еще и время – мутнее, поганее не было времени, как старые люди говорят, даже в войну. Отец у стола сидел, накладные какие-то перебирал свои, далеко отставляя и глядя так на них, в голове сивости... И подошла, для себя неожиданно, обняла сзади, к небритой прижалась щеке.

– Ну, ну, – сказал он.

Она запах сухого зерна уловила, теплый, чуть терпкий запах пота – и вздрогнула, и еще прижалась.

### 3

Обещал заехать к ней в среду – и не приехал. Она приготовила все, даже коньяк в холодильнике стоял – так, на всякий случай, конечно, он же за рулем; но мог же и с шофером-экспедитором, что-то говорил о нем и о том, что получить кое-что надо в фирме одной... вдруг останется.

Когда она в первый раз это подумала – вдруг останется? – ее передернуло даже: нельзя, ты что, совсем уж... Тубо, нельзя! Как Милка из первого подъезда на собаку свою, на стерву развинченную, с каждым кобелишком пугается, – тубо!..

Но и четверг настал; и она, девчатам своим лабораторным наказав про телефон и в заводоуправлении поблизости с партиями американского зерна дела пытаясь утрясти – ни к черту пшеничка хваленая, скоту на фураж впору, – все думала: ну и... оставить? Все ясно – или почти все, а там как будет... Да никак там не будет и быть не может, ты ж сама

не переступишь, не заставив себя переступить – страхи свои, сомнения, наказания материнские давние... С чего вообще взяла, что останеться, что – оставишь?

Нет, увидеться просто – и больше ничего не надо... Ругалась в бухгалтерии, затем с директором, Квасневым, спорила, уперлась, все из-за американской этой дряни, под видом и по ценам как за продовольственное зерно, сбавленной сюда с новоорлеанского порта, клейковины меньше, чем в нашем фуражном подчас, – требовала рекламации направить, в арбитраж опротестовать. «Рекламацию? Кому?! – побурев от возмущения тоже, кричал Кваснев на эту недавно назначенную им заведовать лабораторией мелькрупозавода своего хваткую девицу. – Заверюхе? Черномырдину?! Взятки там получены уже – сполна!..» А принять если – рассчитываешься ли потом?.. Спорила, затем со скрипом оформляла, как приказано; и опять тоска брала, и слабостью заливало, нетерпением увидеть и честно – честней некуда, Славик здесь постольку-поскольку, – взглянуть, ясно глянуть еще раз в глаза, потому что ничего кроме этой честности и ясности у нее не было, нечем больше доказать, сказать... Доказать – что? Неизвестно, что; она лишь знала, что не в счет здесь ни смазливость с фигурой, ни наряды, ни разговоры, тары-бары эти. Что-то малое совсем не поглянется, отведет на себя глаза – вот как волоски те черные на руках у студента – и все, и не уговоришь себя, и привыкнешь вряд ли. По себе знала, все мы знаем по себе.

Еще потрогать хотелось, она ни разу не прикоснулась даже, первой нельзя, – к руке хотя бы, она какая: теплая, сухая ли, этого не обскажешь, и вообще, умные ли руки... как нелепо, когда глупые, хамоватые, за человека тебя не считают, не понимают твоего, человеческого, комкают. Руками – это же разговор, и как отвечать, если ей что-то сказали... ну, тронули, это ж одно и то же, и она не может не отвечать, плохим ли, хорошим, а многие мужчины в этом смысле – ну просто матерщинники. Или зануды, тоже мало хорошего.

Она слишком, конечно же, многого от него ждала, сразу, а так нельзя, не нужно; ждала и этого – что руку на прощанье протянет, но как-то так получилось... ну, не получилось, но это не беда совсем, все и без того было хорошо – и главное, он сам следил, кажется, чтобы все так было. Или, может, это лишь ей кажется, казалось так, а все это само собой у него выходило, как сейчас говорят – без проблем? Противное какое словечко.

Ехали тогда, он курил простенькую, без фильтра, поглядывал – неприметно из прищуря своего, и надо было готовой быть, поняла она, что он все увидит, не пропустит. И все помнила, как в дом их вошел он, опаску, даже испуг некий у матери в глазах помнила, для чужих, может, и не видный... Сначала и смешно стало; но ведь и самой-то перед тем, вчера, страшно было, да и что знает она о страхе этом – по сравнению с матерью? Да ничего, можно сказать, инстинкты одни. Но сегодня не было страха, он сидел спокойно, чуть ссутулясь к ветровому стеклу, рядом, и рука его на баранке плотно лежала, другая с сигаретой у форточки, капот «уазика» резко подрагивает, взбрасывается иногда на колдобинах – по задкам проскочили, потом проселком, а то еще навяжется кто на выезде. Он этого не сказал, только посмотрел и ухмыльнулся; и хотя она сделала вид, что не поняла, но ухмылка эта была ей в тот миг, в секунду-другую какую-то, неприятна. Нет, не секунду, а дольше и гораздо неприятней – по-

тому что это была ухмылка именно, слишком много чего-то знающая про них наперед, а не улыбка. На улыбку она ответила бы тем же, понимающим, – но не на это... резко ездит, и сам жестковат, показалось, как этого «уазик» его на ходу, все колдобинки считает. Вот он, страх, и не дай Бог, если это так, что она тогда делать будет?..

Но прошло, и как-то быстро прошло – от покоя рядом с ним. Необъяснимый для нее покой, она еще, кажется, ни с кем вот так, рядом, его не испытывала, разве что около отца. Вот на обгон пошли на очередной, а впереди уже встречная замаячила в асфальтовых миражах машина, на глазах растет, несется – и впритирку прошли в реве моторов, между бешено вращающихся справа и слева колес грузовиков; и она боится, конечно же, но спокойна – это она-то, второкурсницей еще напуганная таким, угодившая на попутке в кювет: визг подружки, совершенно животный, с механическим визгом и скрежетом тормозов пополам, все заволокая пыль, и в ней – жуткое лицо шофера остановившееся...

А вот автобус за автобусом пошли «Икарусы» – колонной, несчетные; и он головой на них кивнул, мало сказать – неприязненно:

– Детишек везут...

– Как – детишек? Это ж...

– Ну да... пролетарьят, смена газаводская. Детишки, ничего знать не хотят. Газ на Запад, бабли на карман – и трава им тут не расти. Теперь не пионеров – придурков этих так катают...

– Ну, семьи у них...

– А кто о большой семье думать будет? Дядя? Придурки, типичные.

Разговаривали о том о сем, и как-то удачно у нее получалось, в тон ему, сдержанно, да и торопиться уже не надо было, некуда теперь: ага, технологический, у Соломатина покойного... да, у вас он тоже лекции читал на агрофаке, знаю, но я лишь дипломную при нем успела написать, защищалась без него уже... копуша был такой, ага, но дело-то знал. На мелькрупно... назовут же. Крупорушка, вот именно. Совсем нет, но все-таки город же, привыкаешь... Не привыкли? Прямо уж так – никогда?! Ну, если только посадят, усмешкой отделался он: тюрьма – тоже часть города, существенная; и вообще... сложный это вопрос вообще, и город не люблю... Да никак: он не для меня, я не для него. А на мой век деревни хватит, ее указом не закроешь... Если бы дураки. Хуже, куда хуже. Мы-то еще карабкаемся, а другие... У соседей вон (и ткнул сигаретой вбок, на мелькающие за раздерганной лесопосадкой лоховские поля) и сенокос отменили... А так: однолетних не посеяли, семян с горючкой нема, а многолетних трав век не было... Нет, село подходящее у вас. Старое. Выделили, да... за школой, знаете, где эти жили... ну, Осташковы, так их вроде по-уличному? Вот-вот, и неплохой домишко, до ума если довести. Отопление подвел, а остальное так, между делом... да и не горит.

– Коптит?

– Так, серединка на половинке – дымит.

– А родничок знаете... под горой который, если к лесу ехать? Успели узнать?

– За седьмой клеткой? Ну как не знать... Дикий, скотина туда, считай, не заходит. И вода хорошая.

– Как я давно там не бывала-а...

– А съездим как-нибудь? Я и сам-то... так, перекурить заскочишь когда, на минуту. А туда на полденька хоть бы. И повыше, на речку. Где вишарник.

Съездим!

И еще о всяком: о знакомых общих, о клубе – порнуху одну возят да боевики; о родителях его, которые рядом, оказывается, в райцентре, – ничего, тянут, сестренки двое при них... звать как? Таня и Валюшка, старшая в десятый уже. И так захотелось их увидеть. Белобрысые, должно быть; сестренки почему-то светлей братьев бывают – или нет? О городе опять – и вот уже он, слишком легок на помине. Промбазы полузаброшенные, изрытая и захлапленная земля, «комки» пивные и жвачные; повороты из квартала в квартал, он уже больше молчит, на разбитые дороги ругнувшись только, резко крутит баранку. Вот под носом у громадного забугорного фургона спекулянтского проскочили в улочку частной застройки, промеж пыльных кленов прокатили в ее конец и в новостройку въехали, прямо к общежитию.

Вроде бы успела, прибрала вчера – хотя чего уж там такого прибирать, постель разве... Кто скворечником его называл, общежитие, кто – курятником, матерей-одинок тут и вправду с большим избытком было. Подымались по лестнице, и стыдно было за всю гнусность и грязь многонорного этого логова эпохи реформ, будто в самоиздевку людьми устроенного для себя, в самопопиранье; слов не находилось даже, чтобы как-то отвлечь его, несшего сумки сзади и – на лестничном повороте заметила – с явной брезгливостью заглянувшего с площадки в очередной с полуоторванной дверью и стенами и полами изодранными коридор. Только и смогла сказать: «Общага...» – на что он никак не ответил; и вздохнула облегченно, дверь отперев свою, открыв полную утреним еще солнцем квартиру – отремонтированную заводом недавно, уютную-таки, хотя не Бог весть какая мелишка была, сборная. Оживилась, захопотала – «да проходите же!» – кинулась чайник ставить... нет, спокойней, подождет, некуда ему особо спешить – некуда! – и сумки, первым делом сумки с глаз долой, не напоминали чтоб. В комнату на секунду: «Завтрак за мной, я должника!» – и он оглянулся от встроенных в стенку полочек книжных, согласно пожал плечами, и ей почудилось опять, что на лице его та ухмылка... или не умеет он по-другому, никак больше не умеет. Неправда, очень даже умеет, она-то видела уже. Она не чувствует страха – но страшно же, ужасно, если с сомнением, какой-то ужас тихий-тихий царит на нынешнем белом свете этом, в неслышных ходит тапочках, как Славина мама надзирающая, по коврам махровым нашего бесчувствия, по задворкам тоскующих наших снов – и не дай Бог глянет, ухмыльнется... Может, книжки эти? Чтиво, конечно: Дюма, Дрюон какой-то, не читала еще... ага, Пикюль с Балашовым, это уже кое-что. Зато и Чехов, Пришвин, и Достоевский черненький, в десяти ли, двенадцати томах; но тяжело его читать и, ей-Богу, неохота, это ж каторга – про все это свое читать, запутанное, про себя... другие пусть читают, дивятся, мы и так про себя знаем. Все знаем, кроме одного: как жить. И в зеркальце на кухне: ага, в норме почти, глаза только блестят – и пусть.

Посидели совсем по-домашнему. Он не стеснялся, казалось, ничуть, ел все, что она ему подкладывала, пододвигала, – чуть навалившись на стол, поглядывая доверенной, усмешливей; и когда она, достав банку растворимого, села сама наконец, всего-то через угол столика на кухоньке маленькой своей, рядом совсем, – то потерялась на мгновение от близости этой, от его лица с обветренной, кое-где будто шелушащейся кожей, выбритой... и темно-русые и словно припыленные, да, волосы его неожиданно мягки показались, это по сравнению с лицом, зачесаны небрежно набок, одна прядка на лоб упала, и уж на маленькие сухие уши, пропеченные солнцем, лезли давно не стриженные волосы. Что-то говорила, садясь, – и не договорила, забыла о чем; он жевал, не торопясь, в раздумье словно, яичница с колбасой и салатом на скорую руку перед ним, бутерброды ее с маслом и сыром, и двигались, подрагивали невысоко подстриженные усы, – и глянул, когда она замолкла, вопросительно и ясно тоже, серые глаза спокойные, близко...

Не приехал. Могло быть всякое, конечно, мало ль у него хлопот, сенокос же. Ждать, ее дело теперь ждать. Бабье, уже ты, считай, баба при нем, сама этого захотела; и как ни говори, а есть что-то в нем, бабьем... основательность какая-никакая, завершенность, что ли. Не на своих двоих только, слабых, тем более если к мужу дети еще. Болтанки свободы нету, поганой. Болтанки надежд, ничем не оправданных, несбыточных. Но, может, еще хуже, когда наперед все знаешь – как со Славой.

Что-то делать надо с этим – или подождать? Малый ласковый, как про таких говорят, Славик и Славик. Уже привык, водит, своей считает, уже папа, профессор со старыми связями, малосемейку вот помог ей выбить – если дооформит, конечно, с условием неприкрытым, коробящим, но ведь и решающим все, все ее проблемы нынешние: муж, квартира, работа... ну, работа и без того хорошая, и что там еще? Машина? С ней чуть подождать придется – но будет, на папину можно поездить пока; а сейчас, дескать, двухкомнатную построить, заказ уже где-то принят. Про детей же, со Славой, и думать не хочется, никакого почему-то интереса, даже и странно как-то было представить: Славик – и их, с ним, дети?!

Вот и все твои проблемы... все? Всего-то? Если бы так.

Нет, подождать, конечно, отдых Славiku, уже она делала так – на недельку, на две паузу, этакое временное охлаждение: хоть немного, а все-таки помогало... Переохлаждение, ведь замерзает при нем, рыбой холодной себя чувствует с ним, треской свежемороженой, гибнет... гибнет? Да, и его губит, ведь знает же: так и продаются – за квартиры эти, прописку, за то-се, весь свет им не мил потом, а муженек в стрелочниках. И видела это, подружек хоть взять, сокурсниц, и читала, зря ж не напишут, такое нынче через раз, – вот где тоска-то. Зато ухожена, напитана, обстановка, круг людей. Не топить, грязь не месить, город. И стирать-готовить будет, приноровишь если, захочешь, – но тошно. Но кто-то пройдет мимо, глянет равнодушно – как вот он, Алексей, – и все, и что-то сломается, сломится в тебе, загаснет, и что с этим делать потом? Как жить с этим? Без пощады глянет и будет прав.

И прибежали: к телефону! – и оказался, конечно, Слава. Славик как таковой, как судьба – один из вариантов ее, верней; но ведь не хотела, не хочет она выбирать, не ее

это дело... Что-то, знает она, нехорошее в этом месте, в самой возможности выбора этого: соблазн, попытка решить то, чего решить до конца все равно не сможешь... совсем лучше не решать, иногда кажется, чем дразнить ее, судьбу, колесо запускать это скрипящее, тяжелое, которое тебя ж и... Какому лишь бы катиться – не разбирая, по чему и зачем.

У Славика на руках билеты, певичка какая-то – баянова ли, гармошкина... а ты меня – ты извини, конечно, – спросил? Я не болонка, Слава, у меня тут дела, и вообще я на выходные к своим, может, опять – да, отдай кому-нито, пожалуйста. Или нет, лучше сходи с кем-нибудь – с мамой, лучше не придумайшь, Агнесса Михайловна хотела же так... ну, вырваться, она ж говорила как-то. Засиделась дома, говорит.

Мама – гладкая, медлительная, с холодным приценивающимся взглядом, приценивающимся: знаете, так мало в городе нравственных девушек, с чувством обязанности, долга... должницу ей надо, Славику своему. Не мама – фортеция, все под прицелом, все рассчитано у них от и до. Выгуляй маму, а то не прокакается никак.

Нет, Слава, и завтра тоже... Ну, я не знаю; но так получается, что я до вторника ну ни-ку-да. Ни-как. Зайдешь? Ну как это – «просто»... тем более вечером, нет-нет! Девчата посмеивались, а Нинок ладошками, как купальщица, широкий свой пах прикрыла, прихватила панически – и все так и покатались, и первая Нинок сама, аж повизгивала... Да, тут девочки кланяются тебе, русы косы поотрезали, лохмы одни крашенные... Но кланяются, пол метут ими. Конечно, Слав. Но ты уж пожалуйста. Уж отдохни, от меня стоит, я же... И от тебя, и нам – от нас двоих. Ну, я же не могу сейчас, при... И хорошо. А я сама позвоню, потом, ладно? – Девам отмашку, хихикают под руку, нет бы выйти! – Значит, как ты говоришь – до встреч, до расставаний! Но я сама, договорились? Ну, целую.

Лжецелованье, оно же и лжеклятва... так и водится оно, так и ведется. Грубое дело любовь. Физиология – ладно, тут понятно; но не менее, может, грубо и это все, что душевным называется, сама необходимость этого – железная, спущенная нам с небес, железо так, наверное, спустили когда-то человеку вместо камня, нет – бронзы уже... Вот он все железный и тянется, век, хоть говорят, что атомный. С железкой необходимости этой в груди, в теле все и живут, волокутся, оттого и тяжко. Вроде как обязанность – а перед кем и, главное, за что? Перебегая двориком назад в заводууправление, подумала опять: вот именно – за что, за какую провинность такую? Железка, а впридачу железы... Господи, чушь какая, вон уже зырит какой-то – чуют они, что ли? Чуют, псы.

Обещанье, какое Славику дала, выполнила: ни-ку-да, только дома и на работе, на телефоне. Мальчик слабоват был, мог явиться все ж, не утерпеть, и она готова была выпроводить его в пять минут: поцелуй там, по щечке погладить и – домой-домой, Слава... К маме. Сразу против души домашность их была, а теперь и вовсе. Ордер через друга-приятеля папиного временный какой-то выписан, даже в ЖЭКе удивились, такого у них вроде не бывало еще – либо уж постоянный, с правами, как на обычную квартиру, либо никакой; и она в квартире этой на самых теперь что ни на есть птичьих правах, как в рядовой

общаге... А через Славику кузину, феноменальную болтушку себе на уме, дадено знать, что постоянный на свадьбе вручат, торжественно... Через ту же связную или даже через Славику – неужто знает он об этом? – она бы тоже могла условия свои выставить: ордер на стол, а все разговоры потом, хоть о чем, хоть о свадьбе той же; но и противно, и никуда со Славой не торопилась она, не уйдет... тошно, кто бы знал. Обоюдовыгодная партия – обоюдовооруженная. Ладно бы – Слава, папа, добряка-то строит он из себя, конечно, а так тоже ничего; но мама... Тяжелая, как свинец, мама. Породу улучшить желает – за счет здоровых деревенских кровей. Нравственность ей подавай, обязательства. Улучшишь, сединки прибавила б тебе.

И какой тихий, золотой какой вечер за окном, как обняло им домишки, дворы, кленовые с яблоневыми заросли частного сектора, вытеплоило как все, всю его немудреную издалека жизнь – как когда-то, в былом, еще мало-мальски добром мире. Машины совсем редки, явственно слышен говор со скамейки у одного из дворов, там всегда собираются старики, и противный, скандальный крик мальчишек под самой стеной малосемейки, вечно поделить не могут... А звезды ее любимой, вечерницы, не видно, рано еще или, может, с другой она сейчас восходит стороны – Бог знает с каких пор выбранной ею звезды, с шести ли, семи лет. И в какой не зная раз захотелось домой отсюда, огородом по меже вниз, к речке под ветлами пробраться и на камень сесть, гладкий от извечного полосканья бельишка на нем, от материнского валька, прохладный всегда; и натруженные, нажатые целодневной ходьбой ноги в теплую, сумеречно тихую воду опустить и смотреть сквозь прореженную понизу навесь ветвей, как нежаркое уже, погруневшее солнце тонет в закатной дымке, в пыли прошедшего пажитью стада.